

От Вальки хулиганы отхлынули так же разом и скопом, как и налетели. Харкая кровью, Сатюков долго еще корячился на четвереньках под кустами; у него хватило силенок выползти на смежную со сквером глухую улочку. Здесь и споткнулся об парня, лежавшего враспяжку поперек тропинки, кто-то.

– Юнец, а напился в стельку. Молодежь!

– Погоди, не бухти понапрасну! Ишь, как его извозили!

Вальку подняли и усадили на задницу два мужика, в темноте не разглядеть – чьи, да и голоса их до Валькиного слуха доносились, будто сквозь вату – по ушам, что ли, так те гады-обидчики повешали. Сатюков не дергался, когда его повели под руки куда-то: главное – свои, родные, русские, он уж слезу готов был пустить. Очутившись в избе, заваленной едва не до потолка железным заржавленным хламом, при тусклом свете лампочки Валька узнал одного из

своих спасителей – Сашку Дорофеева, по прозвищу Бешен. А другой, приволокший таз с холодной, – Ваня Дурило, юродивый! Вот так компания, два известных в городке дурака...

Сашка закончил в городке школу с золотой медалью, потом – один за другим – два института, осел в Питере важной шишкой в каком-то конструкторском бюро, но вышла загвоздка: загуляла красавица-жена. Кончилось разводом, квартиру сразу менять не удалось. Бывшая супружница без зазрения совести приводила любовника, спала с ним. А Сашка сгорал от ревности за тоненькой стенкой в соседней комнате. Жену-то он любил! И у него тогда, ночь за ночью, потихонечку съехала «крыша»... Так болтали в городке, когда Дорофеев со «справкой» возвратился к старушке матери и, потыкавшись туда сюда, притулился разнорабочим в конторе по благоустройству. Он исправно махал метлой, подметая тротуары, лазил с

ножовкой по деревьям в парке, опиливая сучья, высаживал на клумбах цветочки и даже в подручные к главному городскому ассенизатору Федору Клюхе иногда попадал.

Все, что его ни заставляли, Сашка выполнял безропотно, только порою на него находило: выкатив испещренные красными прожилками белки глаз, он начинал торопливо лопотать что-то, непонятное и загадочное для порядком струхнувшего невольного слушателя, которому вцеплялся в рукав. Гражданин убегал; Сашка несся следом. Огненно-рыжий, с обросшим густой щетиной лицом, в потрепанной, одной и для гулянки и для работы одежде, мчался он, едва не бороздя землю длинным носом, и не приведи Господь, если натыкался опять на кого. Тот несчастный, даже и неробкого десятка, только что не напускал в штаны, столкнувшись с его отрешенным, диким взглядом. Бешен, да и только!

Теперь вот Валька – ни жив ни мертв – сидел на табуретке, приваленный спиной к стене в дому Бешена, и сам хозяин пристально разглядывал его, комкая в руках белую тряпицу. Мужики принялись врачевать ссадины на Валькином лице – все ж потом поменьше мамкиных ахов и охов будет.

– Бьют-то слабо, не по-русски, – проворчал Ваня Дурило, оставляя в покое хнычущего Вальку и раздирая пятерней на груди густую шерсть, где запутался, поблескивая, большой медный крест.

Со своим «спасателем» Сашкой Бешеном Валька встретился

вскоре опять. Бежал мимо до-рофеевского дома и – глядь! – Ваня Дурило на крыльце стоит и не просто на настиле или на ступеньках, а залез на столбик, к которому когда-то крепились перильца, и, выстаивая на одной ноге, размахивая руками, кричит залиvisto петухом. Разинувшего рот Вальку едва не сшиб с ног выскочивший из ворот рассерженный участковый.

– С дураков какой спрос! – пробурчал он, окинув парня неприязненным и в то же время смущенным взглядом.

А с крыльца неслось:

– Ки-ка-ре-ку! Ура, дурдом! Кругом – дурдом! Вся жизнь – дурдом! Ки-ка-ре-ку!

Выглянул из-за калитки Бешен, заметив Сатюкова, поманил его пальцем. Валька, сторожко косясь на по-прежнему торчащего на одной ноге на столбике оборванца, поднялся вслед за Сашкой по скрипучим ступенькам крыльца. В горнице на непокрытом столе стояла кой-какая посуда, была разложена немудреная закуска. На табуретке сидел зачуханный смердящий старикашка Веня Свисточек и, вздергивая поптичьи головенкой с реденькими белыми волосиками, поглядывал на вошедших невинными, на удивление чистыми глазами. Позади Вальки и хозяина с кряком захлопнул дверь соскочивший со своего насеста придурочный Ваня.

Сатюков, присев на краешек лавки, чувствовал себя неуютно и неловко. Свисточек, все так же невинной выцветшей лазурью глаз пялясь на него, натренированным до автоматизма движением выкинул перед собой ладошку и, расщеперив корявые грязные пальцы,

затряс ею перед Валькиным носом: «Гони копеечку!» Валька и тут чуть было не полез в карман за мелочью, как тогда, еще до армии, в Ильин день – храмов праздник, когда пошли с Сережкой поглазеть на крестный ход.

Опасно: в школе как бы не влетело, но зато спокойно – среди бела дня, не в пасхальную ночь, когда через ментовское оцепление прорываться надо. Проникнуть внутрь храма братаны не решились, остались дожидаться действия, поджимаясь к кирпичам церковной ограды. От скучающих на паперти нищих отделился босой, заросший свалевшимся волосом мужик, сильно прихрамывая, приблизился к ребятам и, закатив дурашливо глаза, двумя сложенными пальцами принялся молотить себя по губам.

– Дядя, да-дай ку-ку...

Ваньку Дурило ребята знали – известная в городке личность, но устрашенные его идиотским видом, отошли от дурака на всякий случай подальше и в узком проеме калитки столкнулись с другим убогим, вернее, чуть не затоптали его, сидящего меж положенных поперек дорожки костылей. Белобрысенький, он захохотал, захрюкал потревоженно, а когда протянутую ладошку ему не позолотили, сердито засопел, вытолкнул сквозь зубы довольно внятно крепкое словцо. Вздохнул ударил колокол. Из церковных врат потекла толпа богомольцев, качнулись, заблестали над нею крест, хоругови.

Парни повисли на ограде, цепляясь руками за железные пики ее наверхия. Крестный ход с пением двинулся вокруг храма, и Валька с Сережкой намерились перебежать на другую сторону, чтобы

поглазеть, как богомольцы будут возвращаться. И столкнулись за угловой башенкой ограды опять с убогими. Те поначалу ребят не заметили.

– Скупой народ пошел! – сетовал Дурило белобрысенькому вполне нормальным голосом. – Закурить даже никто не дал.

– Угощайся! – белобрысый, подойдя к нему от прислоненных аккуратно к ограде костылей, протянул пачку сигарет. Закурили.

– Как нынче посбиралось-то?

Белобрысый молча хлопнул ладонью по оттопыренному карману; глаза убогого светились радостно и довольно.

– Есть в тебе чтой-то от настоящего дурака, вот и подают хорошо, – позавидовал Ваня. – А мне мало, как ни стараюсь. Хоть и Дурилом прозвали.

– Так ты дурило и есть.

Тут нищие заметили подглядывающих за ними парней.

– Че вылупились-то? Хи-хи! – Ваня вдруг закатил глаза и, расставив широко руки, будто собрался ловить, пошел, приплясывая, на струхнувших ребят.

Белобрысый, достав милицейский свисток, залился трелью, захохотал и, подхватив костыли, заподпрыгивал на них прочь...

И вот не думал, не гадал Валька, что придется ему сидеть в гостях у Сашки Бешена между двумя столь досточтимыми людьми. До первой стопочки и кашлянуть побаивался. Выпил – осмелел. У убогих в башках скоро «зашаяло»: что-то быстро-быстро, но непонятно залопотал сам с собою Веня Свисточек, а Дурило заблажил. Заорал про «златые» горы.

– Я – философ! – резко оборвав завывания, заявил он. – Божеских

наук. Втолковываю темным людишкам у церкви, что да как, лишь бы деньгу давали. Хоть и четыре класса у меня, – расхвастался вконец.

– Веня, ты у нас тогда профессор с одним-то классом! – весело крикнул Бешен.

– Читать умею, – подтвердил Свисточек и опрокинул стакашек.

– Выходит, я академик, с двумя-то высшими!

Проскрипела незапертая дверь, и вошла маленькая, закутанная в черный платок старушка; блеснули стеклышки очков на носу.

– Опять пируете? – перекрестившись на киот с иконами в переднем углу, строго спросила она. – Санко, сколько же тебе говорить, чтоб не путался с этими шаромыжниками! Ты – человек ученой! Да и вы-то че пристали к мужику? Эко, ровно поросята, в Троицы-то день!

Веня в ответ зычно икнул, невинные глазки его замутились, и он кулем рухнул под стол. Ваня закудахтал было, но старушка оборвала его:

– Полно, дураково поле!.. Вы проводил бы ты их, Санушко, пока мамкино добро с ними не спустил!

– Не могу, Анна Семеновна! Они мои братья во Христе!

Старушка вздохнула, дескать, что с тебя, простяги, взять, и тут же ойкнула, приложив ладошку к губам:

– Забыла... Василия Ефимовича проводывал? Нет? Эх, ты...

– Сейчас же, немедленно! – засобирался Сашка. – Кто еще со мной?

Дурило сонно зевнул и со стуком уронил голову на стол.

– Запрем их. Пусть дрыхнут...

На улице смеркалось. Двухэтажный темный дом с чуть заметными бликами света из-под занавеси

в окне верхнего этажа оказался Вальке по пути. Сатюков побрел бы и дальше своей дорогой, но Бешен придержал его:

– Зайдем!

– Расскажешь потом, Санко, как он там! – старушка попрощалась и ушла.

Сашка стучался долго; наконец где-то сверху скрипнула дверь, дребезжащий старческий голос спросил: «Кто там?» Бешен назвался. Зашлепали по лестнице шаги, при свете керосиновой лампы открывший дверь старик выглядел пугающе: трясущаяся плешивая голова, на усохшем личике густели тени. Сашка помог хозяину, поддерживая под локоть, подняться обратно в лестницу, и в светлой уютной комнатке Валька по-настоящему разглядел его. Сатюков думал, что давным-давно старикан этот помер. Ведь Валька еще совсем сопливым пацаном был, когда на городковской танцплощадке, не «оснащенной» еще ни гитарным бряком, ни заполошным барабанным воем, ни вытьем и ором местных дарований, простецкая советская радиола исправно в субботние и воскресные вечера раскручивала свой диск – и любую пластиночку ставили на утеху публике.

А что за публика собиралась! В меньшинстве – на площадке, в большинстве – около. За высоким, обтянутым металлической сеткой барьером, будто в скотском загоне, на дощатом помосте в одном углу толклись парнишки-малолетки, в другом – их ровесницы. Было рановато – и радиолу в крашеной будке запускали время от времени. Мальчишки и девчонки суетливо дергались, толкая локтями друг дружку. Молодежь

повзрослей, посолидней подошла в сумерки. Тут и репродуктор, подвешенный на дереве, верещал, не умолкая, и пол ходил ходуном под ногами резвящихся, грозясь обломиться. Стволы столетних лип с корою, изрезанной ножичками и прочей колющей штуковиной, обступавших танцплощадку, подпирали могучими плечами подвыпившие застарелые холостяки; меж ними, яростно отбиваясь от комарья, выглядывали своих чадушек, скачущих за барьером, мамыши. У их подолов путался зеленый ребячий подрост, норовя в удобный момент перешмыгнуть через сетку. В потемках в глубине парка вспыхивали потасовки, кто-то кого-то с улюлюканьем гонял, кто-то ревел ушибленным телком. Люд же, самый разношерстный, прибывал и прибывал, словно осы гнездо, облепляя барьер танцплощадки...

После современной легкой музыки из раскаленного колпака репродуктора плавно плыли звуки старинного вальса. Распаренная толпа уморившихся танцоров, отпыхиваясь, сваливала к лавочкам посидеть, если хватало места, а в освободившийся круг неторопливо входил невысокий плотный старичок. Полувоенный френч ловко обтягивал его сутуловатую фигуру, на ногах поблескивали скрипучие хромачи. Аккуратный пробор седых волос, подкрученные вверх усы. Старик выбирал «даму», слегка склоняясь к ней, приглашал на танец. Девка млела, не смея отказать, и осрамиться побаивалась, но, наконец, соглашалась. Кавалер легко вел ее, откинув немного назад красивую голову, лихо кружил, и самая неумелая деваха входила с ним в раж,

забывала про свои «ходули» – на удивление, ступали они как надо, и вертелось, плыло все у девчонки перед глазами – хорошо-то как! Старик, словно двадцатилетний, падал на одно колено и стремительно, под восхищенное аханье зевак, обводил даму вокруг себя. Набегали другие пары, в основном девчонки, суматошно кружились кто как умел, а над парком затихали последние аккорды «Дунайских волн»...

Нет, старичок Зерцалов был теперь не такой шустрый и бойкий. С бескровным лицом с коричневыми пятнами на лбу и на щеках, с заплывающими в мутной мокроте беспомощно глядевшими глазами, но по-прежнему в наброшенном на плечи френче, он шаркал в тапках по горнице. При слабом свете настольной лампы в простенках между окнами, прикрытыми шторами, виднелись какие-то картины в массивных, украшенных резьбою рамах, передний угол занимал огромный рояль; с другой стороны во всю стену чернел громоздкий буфет с затейливыми фигурками и узорами. Старик прошлепал к письменному столику с чернильным прибором, в который были вмонтированы остановившиеся часы с трубящими в рога статуэтками охотников, сел на стул с высокой, из витых деревянных прутьев спинкой. В горнице-музее Зерцалов сам был наподобие экспоната, разве что живого.

– С Троицей вас, Василий Ефимович! – громко проговорил, чуть ли не прокричал Сашка и вперился куда-то в угол. – Вот незадача! Лампадка-то не горит!

Он вскочил на стул, чиркнул спичку и запалил огонек, высветивший святой лик на иконе.

Валька грешным делом подумал, что хозяин сейчас заругается: мало кому чужое самоуправство, вдобавок с прыжками и скачками, понравилось бы, но Зерцалов, подшлепав к Бешену и взяв его за

руку, поблагодарил:

– Спаси Бог... Сижу, ровно нехристь.

Сашка, перекрестившись, вдруг запел сильным чистым голосом:

– Благословен еси Христе Боже наш,
Иже премудрые ловцы явлей,
ниспослав им Духа Святаго,
И теми уловлей вселенную,
Человеколюбче, слава Тебе!

Старик, тоже глядя на икону, подтянул хрипло, еле слышно тропарь.

Прощаясь, он слабо пожимал гостям руки.

– Александр, пока лето, отвезите меня в Лопотово, в монастырь... Покорнейше прошу! Перед смертью побывать бы там еще разок!

– Сделаем, сделаем! – кивал Сашка.

Уходили, оглядываясь. Фигурка старика с керосиновой лампой в руке долго еще, провожая, жалась в дверях на крыльце.

Сашка Бешен и Валька слово сдержали: раздобыли лошадь с тележкой, посадили старика на охапку сена и отправились к развалинам монастыря. Тронулись в путь не рано, солнце стояло уже высоко, парило, как перед ливнем. По дороге, развороченной весной колесами и гусеницами тракторов и теперь высохшей, с выворотнями земли, колдобинами, ямами, кобыла, боясь обломать ноги, вышагивала неторопко, но телегу все равно подбрасывало и трясло почем зря.

Зерцалов, вцепившись бескровными иссохшими пальцами в грядку телеги, как выехали, не проронил ни слова: порою казалось, что старик, полулежа на сене, спит с открытыми, подернутыми мутной

мокротой глазами.

Побеспокоил, разбудил его тяжелый дурной запах, который временами приносил ветерок, особенно когда повозка выскакивала из перелесков, обступаящих дорогу, на ровное открытое место. На речном берегу уже стало не продохнуть... Вода в реке текла черная, с белыми пузырящимися барашками ядовитой пены на поверхности. Ни зеленого листочка водоросли, ни резвящегося рыбного малька; вдоль обоих берегов тянулась желтая мертвая канва. Лошадь зафыркала, уперлась, не пошла вброд. Сашка соскочил с телеги, ухватил кобылу под уздцы и, уговаривая, кое-как затянул в реку. Перевел, сам бултыхаясь по пояс. За речным изгибом вроде все так же приветливо и весело зеленел монастырский холм с развалинами церковей. Старик попросил остановиться, слез с телеги. Придерживаясь за нее, побрел рядом, торопливо и жадно озирая окрестность.

Когда взобрались на холм к остаткам крепостной стены, нескрываемая, почти ребячья радость с лица старика исчезла; он был растерян, похоже, узнавая и не узнавая место. Вместо домов соседней деревеньки горами

головешек чернело пепелище, валялся битый кирпич, распяливали обугленные сучья деревья, начиналась испаханная тракторными гусеницами и полозьями саней полоса с вмятыми в землю, еще кое-где зеленеющими искореженными яблоньками и, извиваясь, тянулась к вырубленному бору. У оставшихся у самой воды вековых елей желтела, осыпаясь, хвоя: весенний паводок погубил их.

Старик не смог преодолеть рытвину, споткнулся и боком упал на груды вывернутой глины. Бешен и Валька бросились ему на помощь, но он остановил их слабым жестом руки и ладонью прикрыл глаза.

– Сад у него тут был, – вполголоса забормотал на ухо Вальке Сашка. – Прежний, монастырский-то в войну вымерз, пока Василий Ефимович как бывший офицер и «враг народа» в лагере сидел. Так он новый посадил, и – смотри! – что гады вытворили, объехать поленились. А домик у деда еще раньше какие-то идиоты разорили, сам я потом окна досками заколачивал. И уехал-то он всего на ночь: косари в баньке мыться собрались да загуляли, в городок их понесло, и Василия Ефимовича с собой сманили... Он все домишко отремонтировать хотел, да слег, больше сюда и не бывал. Я сам не рад, что его привез. Знал, что реку стоками с бумажного комбината отравили. Что ж творится здесь, Господи!..

Сашка, не переставая, бубнил на ухо Вальке и еще, а старик, отняв от глаз мокрую ладонь, пытался всмотреться в расплывчатые очертания изувеченного, наполовину вырубленного ельника. Где-то там прикрывал вытесанный игуменом Григорием крест косточки невинно расстрелянных монахов, и на том месте кто-то без

тоски и горя валил деревья, потом трелевал их к дороге, уничтожая попутно сад. А ведь даже в войну бора не тронули...

Надо туда добраться, может, родник найдется и крест укажет! Но подняться не было сил...

– Живого бы его довести обратно! – озабоченно сказал Бешен.

...Старик Зерцалов умер в городском саду на другой же вечер после поездки в Лопотово. Громыхала музыка на танцплощадке, орали что-то «импортное» местные дарования, так же заморожено лепился к барьеру разношерстный народишко, а старик, стоя в потемках у вековой липы, вдруг схватился рукою за сердце и медленно сполз по шершавой коре дерева. Пока не рассвело, и не подошел никто, думали – лежит какой пьяный, так и пусть себе валяется.

Обо всем этом рассказывал Сатюкову расстроенный, чуть не плачущий Бешен.

– Пойдем в церковь, помолимся за упокой души! – предложил Сашка.

Валька покорно поплелся за ним. В храме за службой стояло немного народу, без толкотни и тесноты, как в праздничный день. Бешен подвел Вальку к большой старинной иконе.

– Преподобный Григорий! – пояснил шепотом. – Покойный Василий Ефимович его наравне со своим ангелом-хранителем почитал. Затепли-ка свечечку!

Валька обжег неосторожным движением пальцы об огонек, охнул и, взглядевшись в потемневший от времени лик на иконе, отпрянул – глаза старца в черном смотрели строго и осуждающе. Сатюков, боясь еще взглянуть, попытался

разобрать клейма-картинки вдоль бортика иконы: монах, водружающий крест на речном берегу, тот же чернец возле церковки, а вот какие-то воины с обнаженными мечами окружили его, стоящего с воздетыми руками... Жаль, не все можно было разобрать.

Валька, все еще в смущении, отошел, стараясь ступать неслышно, с беспокойством искал Бешена. Сашка возле царских врат напротив иконы Богородицы стоял на коленях и клал земные поклоны. Служба, должно быть, подошла к концу: вышел с крестом батюшка, благословил всех, и Сашка первым приложился к кресту. У выхода из церкви Бешена обступили старушки, даже Вальку, попытавшегося протиснуться к нему, оттерли.

– Помолись за нас, грешных! – Сашке совали и пирожок, и пряничек, и денежку, но Бешен отказывался от даров.

– Дурак! Дают – бери, бьют – беги! – снизу, с паперти, заворчал раздраженно Ваня Дурило.

Напротив него сидел, задрал белесую бородачку и раскачивая

растопыренной пятерней, Свисточек. День, видать, у убогих выдался некормный.

– Приходи, слышишь, сюда! Особенно когда худо будет, – бормотал по дороге домой Сашка. – У Григория преподобного постоишь, в беде не оставит...

Бешена Валька видел тогда в последний раз. За зиму как-то встречаться больше не приходилось, а весной, в ледоход, услышал – погиб Сашка. От церкви брели они с Дурилом и Свисточком и, как обычно, срезая путь, полезли через речку, не по мосту. Бешен шел первым; напарники его, прикуривая, задержался на берегу. Сашка ухнул в промоину, проорал, и пока Ваня с Веней бестолково бегали по берегу, течение, быстрое в этом месте, утянуло Бешена под лед. Но ходила упорно в городке и другая версия: убогие сами спихнули Сашку в полынью и потом преспокойно ждали, пока он, орущий, уйдет на дно. Дескать, завидовали тебе мы, а теперь ты нам позавидууй...